

Москва «до» и «после» Революции: социология родного города в сочинениях Федора Степуна*

Алексей Кара-Мурза

Доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Главный научный сотрудник Института философии РАН

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000

E-mail: logoscultura@yandex.ru

Настоящая статья посвящена анализу самобытной «социологии Москвы» русского философа и социолога Федора Августовича Степуна (1884–1965), который родился, учился и долгие годы жил в Москве, вплоть до своей высылки большевистским режимом из Советской России в 1922 году. На большом фактическом материале автор показывает, как творческие переживания москвича Степуна были связаны с двумя разными периодами жизни Москвы — «до» и «после» Революции 1917 года. Москва перед Первой мировой войной — излюбленная тема Степуна-мемуариста. В отличие от многих авторов, называвших те годы «потерянным временем» для России, Степун, напротив, чрезвычайно высоко ценил тот период за его социальный динамизм и многообразное культурное творчество. Коренной москвич, Степун был воодушевлен быстрым предвоенным ростом старой столицы и неоднократно объявлял предвоенную Москву «золотым периодом» русской культуры. В этом он разделял идеи своих друзей по эмиграции Г. П. Федотова и В. В. Вейдле о том, что «просвещенная Россия» является «лучшей Европой». Особое место в статье отводится анализу отношения Степуна — аналитика и мемуариста — к радикальному преобразованию «метафизического ландшафта» Москвы после революции, которую Степун называет «экзистенциальным переворотом», сломавшим все привычные человеческие «идентичности». Согласно Степуну, большевистский переворот произвел буквально тектонический сдвиг человеческого бытия, не только выбив миллионы людей из привычных контекстов существования, но и до предела оголив все первичные, «экзистенциальные», смыслы человеческого существования.

Ключевые слова: Ф. А. Степун, Россия, Москва, русская философия, социология города, цивилизация, культура, мировая война, революция, большевизм, эмиграция, идентичность

Задачей данной статьи, написанной в излюбленном автором жанре «философского краеведения» (Кара-Мурза, 2015; Кара-Мурза, 2014, 2015б, 2016), является исследование «социологии Москвы» русского мыслителя Федора Августовича Степуна (1884–1965). В Белокаменной Степун родился, учился в немецком реальном училище, а после возвращения из Гейдельбергского университета занимался здесь

© Кара-Мурза А. А., 2018

© Центр фундаментальной социологии, 2018

DOI: 10.17323/1728-192X-2018-2-262-283

* Исследование финансировалось в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5-100».

философией, социологией, художественной критикой и постановкой театральных спектаклей. Из большевистской Москвы Степун осенью 1922 года отправился в вынужденное изгнание на одном из «философских паровозов» — в отличие от некоторых своих друзей, уплывших на чужбину морем.

В своем «Автобиографическом очерке», написанном в конце жизни для русской эмигрантской молодежи, Ф. А. Степун ясно обозначил свое московское происхождение: «Родился я 6 февраля 1884 года в Москве, в доме «Человеколюбивого общества» (можно сказать — обязывающее месторождение!)» (Степун, 1960: 91)¹. Здесь же, в Москве, юный Степун окончил престижное в среде технической интеллигенции реальное училище при Евангелической лютеранской церкви св. Михаила. Семилетняя учеба в реальном училище при лютеранской церкви св. Михаила (Степуну эта кирха всегда напоминала «гигантскую серокаменную улитку») сформировала у него еще одну «локальную идентичность», важную для личностного ощущения будущего философа и литератора. Это — самоидентификация с московским районом Лефортово, бывшей Немецкой слободой, куда Степун каждое утро добирался с братом из центра через Маросейку, Покровку, Земляной Вал, и которую он многократно с ностальгией вспоминал в своих знаменитых эмигрантских мемуарах «Бывшее и несбывшееся»². На протяжении всей последующей жизни в голове Степуна часто оживали воспоминания «о тех ранних темных утрах, которыми мы с братом в продолжение многих школьных зим садились в допотопную конку, еле освещенную двумя маленькими керосиновыми лампочками по углам» (Степун, 2000в: 474).

Лефортовская Москва в описании Степуна очень отличается и от дворянских кварталов Пречистенки, Поварской, обеих Молчановок; и от интеллигентско-профессорского Арбата; и от Замоскворечья, где «тяжело спало (от переедания) старозаветное купечество»; и от Марьиной Рощи, в которой «заливалась мещанская гармоника», и от Пресни, где «уже зарождался красный рабочий» (Там же: 29). Особая атмосфера Лефортово, согласно Степуну, чувствовалась сразу за границей Земляного города:

Вот Земляной Вал, мост над запасными путями Курской железной дороги, а за ним совсем уже иная Москва, тихая, провинциальная Москва моих

1. Дом Императорского Человеколюбивого общества находится в центре Москвы, в Малом Златоустинском переулке, между Мясницкой и Маросейкой. А само слово «человеколюбивый» с годами стало у Степуна-литератора нарицательным. Когда, например, летом 1921 года в земельной комиссии губернского исполкома слушалось дело о судьбе трудовой коммуны, где крестьянствовали, пытаясь выжить «на земле», Степун и его близкие, и в конце концов все решилось благополучно, Степун иронично отнес этот итог на счет добрых природных предзнаменований: «День разбирательства нашего дела в Москве был на редкость тихий, мягкий, какой-то *человеколюбивый*» (курсив мой. — А. К.) (Степун, 2000в: 586).

2. Полный текст этих воспоминаний хранится в архиве Степуна в Йельском университете США. Этот текст был переведен на немецкий язык, авторизован и вышел в Мюнхене в 1947 г. (см.: Степун, 1947). Лишь в 1954 году Степуну удалось издать сокращенную русскоязычную версию мемуаров. См. об этом: Кантор, 2006.

первых школьных лет... Дома в этой тишайшей части Москвы стояли в то время все больше маленькие, одноэтажные, с мезонинчиками, какие-то пестрые коробочки под зелеными крышами... Целых семь лет ходил я по два раза в день по неровным тротуарам лефортовских переулков на Вознесенскую гору: как хорошо, как привольно стояла церковь Вознесения на своем зеленом, садовом острове, среди каменного разлива трех стекавшихся к ней улиц. (Там же)³

В годы юности Степуна московское Лефортово уже утратило черты старого «Кокуя»: зажиточные немецкие семьи к тому времени перебрались в более престижные кварталы на Воронцовом Поле. Характер района вокруг лютеранской кирхи св. Михаила и Вознесенского православного храма во многом определялся тогда насыщенностью учебными заведениями: женского Елизаветинского института, мужского реального училища и находящихся чуть дальше кадетских корпусов. Эта «юная аура» тогдашнего Лефортова с ностальгией описана Степуном-мемуаристом: «Оживала для нас, реалистов, сонная лефортовская Москва... на Вознесенской горе, там, где среди деревьев старого парка за высокою чугуною оградю белел Елизаветинский институт... С этой институтски-кадетской горы, с горы белых пелеринок и черных мундирчиков, мне в душу и ныне нет-нет да повеет ранневесенний ветерок грустной романтической влюбленности» (Степун, 2000в: 30). Степун вспоминал, как на майских выпускных экзаменах «реалисты» выбегали в перерывы из ворот училища

повертеться перед институтскою оградю, подышать светлою зеленью весенних тополей... Вольные казаки, мы заодно фланировали по тротуару, поджидая, пока девичья карусель выйдет из глубины двора и с лукавыми взорами из-под благонравно опущенных ресниц пройдет совсем близко мимо нас. Кадетам наши штатские вольности были строго запрещены: гордясь своею военною выправкою, они четкою походкою, не останавливаясь и не поворачивая головы, а лишь «глаза на-ле-во», быстро проходили мимо институтского двора. (Там же)

Новый этап московской жизни Степуна — пребывание, правда, недолгое, в квартире родителей первой жены, Анны Серебренниковой, с которой они познакомились во время учебы в Гейдельберге: он — на философском факультете, она — в Зоологическом институте. Серебренниковы (в мемуарах Степуна они представлены как Оловянниковы) — известный в Москве купеческий род, занимавшийся торговлей экипажами и москательным товаром. Именно в доме Аниного отца,

3. «Три улицы», помнящие юного Степуна, — это бывшая Гороховская (ныне Казакова), бывшая Вознесенская (ныне Радио) и сохранивший свое название Токмаков переулков. Стоит сегодня на своем месте православный храм Вознесения Господня на Гороховом поле, построенный в XVIII веке на землях канцлера петровских времен Г. И. Головкина. Однако, увы, утрачены многие другие строения этой части «степуновской Москвы»: и уникальная Michael-Kirche — духовный и культурный центр московских лютеран (закрыта в 1928 году и позднее снесена), и комплекс зданий Михайловского реального училища.

А. С. Серебрянникова, на Самотечной площади, Степун впервые столкнулся с московским купеческим бытом: «Войдя в Анину семью, я встретился с совершенно чуждым мне миром. Несуразно высившийся среди маленьких домишек декадентский дом выходил на грязноватую Самотечную площадь, как раз против второразрядного ресторана „Волна“... явно носил следы легкого в России тех времен обогащения и часто связанной с ним безвкусицы» (Там же: 122)⁴.

Еще сильнее впечатлил молодого интеллектуала-европеиста Степуна старомосковский быт обитателей дома Серебрянниковых-«Оловянных»: «Хотя я по фотографиям и Аниным рассказам и имел некоторое представление о ее родителях, они при первой встрече все же весьма поразили меня. Культурный и бытовой разрыв между ними и дочерью был так велик, что они как были, так и остались для меня совершенно чужими людьми» (Степун, 2000в: 122–123). Особенно типичен был глава семьи, Александр Сергеевич:

В длинном, узком сюртуке, с черною тесемкою вместо галстука, он показался мне классическим европеизированным купцом эпохи Островского. С чужими тихий и молчаливый, он в семье был настоящим деспотом. Направляясь из передней в столовую, он уже в коридоре хлопал в ладоши. При пятом хлопке тарелка супа с мясом, без которого он не признавал обеда, должна была стоять на своем месте... Летом, когда семья жила на даче, богатей Оловянных с удовольствием обедал в грязноватой «Волне», хотя до первоклассного «Эрмитажа» было рукой подать. Часов в пять он почти ежедневно выезжал на дачу в Медведково в легком шарабанчике, запряженном тяжелым орловцем. (Там же: 123)

С осени 1907 по весну 1908 года Федор и Анна, приехав из Гейдельберга в Москву дописывать свои диссертации (Федору для завершения работы по историософии Владимира Соловьева была нужна Румянцевская библиотека), жили уже на съемной квартире. Сведений о ней почти не сохранилось: в мемуарах Степун ограничивается лишь упоминанием о том, что для приема гостей был куплен огромный самовар, а над диваном в кабинете он, как обычно, повесил большой портрет Владимира Соловьева, с которым никогда не расставался и который увез потом в эмиграцию... А летом 1908 года, когда Федор сдавал в Гейдельберге выпускной экзамен, Анна Серебрянникова погибла в литовском Ковно (Каунасе), пытаясь спасти подростка, попавшего в стремнину в Немане...

Москва перед мировой войной — отдельная и очень яркая тема Степуна-мемуариста. В отличие от многих сверстников, называвших 1907–1914 годы «потерянным временем», периодом «консервативного отката», и мечтавших о новом «приливе», Степуну, напротив, нравился культурный рост России, та энергия, с которой «русская жизнь в „темные годы“» реакции боролась против интеллигент-

4. Бывший дом купцов Серебрянниковых под № 20 на Садово-Самотечной площади сохранился. Еще в дореволюционные годы он перестал выглядеть столь «декадентски», как это некогда казалось молодому Степуну. На фоне, например, построенного в 1908 году на другой стороне Самотечной площади «особняка Правдиной» с его вычурным декором в стиле венского модерна.

ской революции» (Там же: 154). Литератор, вскоре прошедший окопы Первой мировой войны, уподобил спонтанно развивавшуюся довоенную Москву «*ничейной полосе*» между охранительством и революционаризмом:

Как в межфронтной полосе, под перекрестным огнем двух вражьих станов, каким-то чудом сажалась и выкапывалась насущная картошка, так и в России накануне Великой войны наперекор смертному бою охранного отделения и боевой организации, на жалкой почве, как-никак добытой 1905-м годом свободы, выростала какая-то новая, с году на год все крепнущая жизнь. <...> Силовая станция всероссийской культурной работы находилась, конечно, в Москве, вдали от министерств и правительственных канцелярий. (Степун, 2008: 154, 157)

Коренной москвич Степун был воодушевлен быстрым предвоенным ростом старой столицы — как культурным, так и хозяйственным (здесь явно сказались не только философский диплом Гейдельберга, но и аттестат реального училища):

Булжные мостовые главных улиц заменялись где торцом, где асфальтом, улучшалось освещение. Фонариков с лестницею через плечо и с круглою щеткой для протирания ламповых стекол за пазухой я по возвращении в Москву уже не застал... Молочно-лиловые электрические шары, горевшие поначалу лишь в Петровских линиях, на Тверской и Красной площади, стали постепенно появляться и на более скромных улицах городского центра. Ширилась и разветвлялась трамвайная сеть, уходили в прошлое милье конки. (Там же: 154)

Немало страниц посвятил Степун описанию впечатляющих изменений городской архитектуры:

Всюду, как грибы после дождя, выростали дома. Недалеко от Красных Ворот забелела одиннадцатизэтажная громада дома Орлика. У Мясницких Ворот высоко подняла свои круглые часы башня нового почтамта... На плоской крыше многоэтажного дома Нирнзее с уютными квартирами для холостяков (комфорт модерн) раскинулось совсем по-европейски нарядное кафе [на этой смотровой площадке первого московского небоскреба в самом центре города Степун, судя по всему, неоднократно бывал. — А. К.]. Особенно быстро преображалась «улица святого Николая», интеллигентский Арбат. Едешь и дивишься — что ни угол, то новый дом в пять-шесть этажей. (Там же: 154–155)

Изложение степуновской «метафизики» предвоенной Москвы⁵ следует, конечно, дополнить его статьями середины 1930-х годов, посвященными встречам автора с некоторыми выдающимися москвичами-современниками. Когда в январе 1934

5. Проблематика «феноменологии ландшафта» — одна из старейших и важнейших в творчестве Степуна. Достаточно вспомнить его раннюю работу 1912 года, посвященную сравнению философского смысла «ландшафтов» итальянской Тосканы, Германии и Центральной России (Степун, 1912: 52–56).

года в Москве скончался Андрей Белый (коренной житель Арбата Борис Николаевич Бугаев), Степун откликнулся на это печальное событие статьей в парижских «Современных записках»:

После внезапного отъезда Белого из Берлина в Россию я, думая о Москве, постоянно думал и о нем в ней... С официальной Москвой образ Белого, несмотря на некоторые «коммуноидности» в его последних писаниях, в моем представлении никак не связывался... Нет сомнения — смерть Белого это новый этап развоплощения прежней России и старой Москвы. Это углубление нашей эмигрантской сироты и нашего одиночества. (Степун, 2000а: 704–705)⁶

В статье 1934 года, посвященной Андрею Белому, Степун вновь обратился к своей излюбленной теме — так много обещавшему предвоенному культурному взлету России: «В Москве, в которой жил тогда Белый и на фоне которой помню его, шла большая, горячая и подлинно-творческая духовная работа... Писатели, художники, музыканты, лектора и театралы без всяких затруднений находили и публику, и деньги, и рынок» (Там же: 705). Степун снова подчеркивает глубинно духовный и, несомненно, демократичный характер этого роста:

В Москве одно за другим возникали все новые и новые издательства — «Весы», «Путь», «Мусагет», «София»... Издательства эти не были, подобно даже и культурнейшим издательствам Запада, коммерческими предприятиями, обслуживающими запросы книжного рынка. Все они исходили... из велений духа и осуществлялись не пайщиками акционерных обществ, а творческим союзом разного толка интеллигентских направлений с широким размахом молодого меценатствующего купечества. (Там же: 705–706)

Об этом же написанный тоже в 1934 году очерк Степуна о Вячеславе Ивановиче Иванове, живущем тогда в Риме⁷. Степун не упускал случая подчеркивать (особенно при общении с ревнивыми петербуржцами или малоосведомленными иностранцами) *московское происхождение* Вяч. Иванова, который родился в маленьком домике у Зоосада на углу Егорьевского и Волкова переулков, был крещен в храме Георгия Победоносца в Грузинах, с золотой медалью окончил Первую московскую гимназию и, прежде чем уехать доучиваться за границу, два года слушал курс на историко-филологическом факультете Московского университета (см., например: Степун, 2012: 222)⁸.

6. Степун многократно, особенно часто в 1910–1913 годы, бывал в квартире Андрея Белого на Пречистенском бульваре (в том же доме работали издательство «Мусагет» и редакция журнала «Логос»); в свою очередь, Андрей Белый любил навещать квартиру Степуна в Штатном переулке (см.: Степун, 2012: 307–312).

7. Эта статья Степуна была первоначально издана на немецком языке, а спустя два года, в 1936 году, напечатана в парижских «Современных записках».

8. Добавлю, что когда в 1913 году Вячеслав Иванов в очередной раз приехал в Москву и поселился на Zubovском бульваре, он стал часто выступать с публичными лекциями. На одной из таких лекций, в большом зале Счетоводных курсов Ф. В. Езерского на Тверской улице, его впервые услышал Степун,

В очерке о Вяч. Иванове 1934 года Степун не в первый раз припомнил парадоксальную мысль Фридриха Шлегеля⁹ о том, что вся древнегреческая культура выросла в свое время «из того творческого досуга, которым в богатеющей Греции располагали высшие слои общества», а следовательно, «античная праздность — есть высшая форма общественной жизни». Русская жизнь начала XX века, развивает Степун парадокс Шлегеля, «была в этом смысле подлинно античной»:

У всех людей, принадлежавших к высшему культурному слою, у писателей, поэтов, публицистов, профессоров, присяжных поверенных и артистов было очень много свободного времени. Ходить друг к другу в гости, вести бесконечные застольные беседы, заседать и публично дискутировать в философских обществах считалось таким же серьезным делом, как читать университетские лекции, выступать на судебных процессах и писать книги... Несмотря на демократические и социалистические устремления в политике, культура жила своей интимной аристократической жизнью, и лишь в очень незначительной степени капиталом и рынком. По всем редакциям, аудиториям и гостиным ходили одни и те же люди, подлинны перипатетики, члены единой безуставной вольно-философской академии. (Степун, 2000: 722–723)¹⁰

Степун и сам, как мог, активно включился в предвоенные годы в культурническую работу. Два московских адреса считал он в те месяцы для себя важнейшими. Во-первых, дом вечерних Пречистенских рабочих курсов в Нижнем Лесном (ныне Курсовом) переулке, где он читал популярный курс философии:

Помнится мне грязноватый кирпичный корпус, к которому меня ежедневно подвозил извозчик, и те темноватые коридоры, которыми я проходил в небольшую поначалу аудиторию, состоявшую на добрую половину из настоящих рабочих. Могу сказать, что к своему первому курсу «Введение в философию» я готовился с очень большим воодушевлением, движимый горячим желанием доказать рабочим, что над всеми людьми царствует единая в веках истина, которая и тогда единит нас борьбою за себя, когда осле-

о чем вспоминал потом в одном из писем жене: «А вот и нелепое, памятное здание, где я впервые слушал златокудрого дионисиста с его характерною походкой, изысканным наклоном львиной головы и прекрасными белыми руками с черным перстнем» (Степун, 1926: 100).

9. Как известно, свою дебютную статью в основанном им совместно с Сергеем Гессеном журнале «Логос» Степун посвятил именно Шлегелю. Точно так же, как Шлегель, Степун мечтал о том времени, когда мысли «лишатся окончательно всякого оттенка безжизненной парадоксальности и станут послушным принципом живой культурной работы» (Степун, 1910: 171).

10. Ностальгические размышления о предвоенной России как о «золотом веке культуры» не раз встречаются и у Н. А. Бердяева, и у Б. П. Вышеславцева, и у других русских мыслителей-эмигрантов. Наиболее ярко общую идею о России, как «лучшей Европы», сформулировал в 1938 году в парижских «Русских записках» друг Степуна — Георгий Федотов: «Петровская реформа действительно вывела Россию на мировые просторы, поставив ее на перекрестке всех великих культур Запада, и создала породу русских европейцев... В течение долгого времени *Европа, как целое, жила более реальной жизнью на берегах Невы или Москвы-реки* [курсив мой. — А. К.], чем на берегах Сены, Темзы или Шпрее» (Федотов, 1992: 178).

пленные ее отрицанием мы озлобленно боремся друг против друга. (Степун, 2000в: 157–158)¹¹

И, во-вторых, особняк на углу Воздвиженки и Большого Кисловского переул-ка, где при «Обществе распространения технических знаний» было организовано «Бюро провинциальных лекторов». Командируемый этим Бюро, Федор Степун объездил в предвоенные годы с просветительскими лекциями пол-России («от Смоленска до Коканда и от Петербурга до Одессы и Кавказа»): «Дело велось широко, горячо, с подлинным идеалистическим подъемом и в том прогрессивном духе, которые были всегда характерны для начинаний «отзывчивой русской общественности»... На доме по Большой Кисловке должна быть со временем прикреплена мраморная доска с выражением глубокой благодарности всем, кто бескорыстно в нем трудился на пользу России» (Там же: 45, 160–161)¹².

И в предвоенные годы, и позднее — в эмиграции, Степун был абсолютно уверен: «Еще десять-двадцать лет дружной, упорной работы и Россия бесспорно вышла бы на дорогу окончательного преодоления того разрыва между «необразованностью народа и ненародностью образования», в котором славянофилы правильно видели основной грех русской жизни» (Там же: 161). Впрочем, он ясно понимал, что и в самом этом предвоенном росте России далеко не все обстояло благополучно:

В московском воздухе стояло не только благоухание ландышей, украшавших широкую лестницу морозовского особняка [где проходили заседания Религиозно-философского общества. — А. К.]... но и попахивало тлением и разложением. Несчастье канунной России заключалось в том, что в общественности и культуре цвела весна, в то время как в политике стояла злая осень. Власть лихорадило: она то нерешительно отпускала поводья, то в страхе бессмысленно затягивала их... Ясно, что трупный запах заживо разлагавшейся власти, отнюдь не столь злой и жестокой, как в те времена казалось, но уж очень беспомощной в делах государственного управления и окончательно безвольной, не мог не отравлять самых светлых начинаний предвоенных лет. (Там же: 164–165)

В 1911 году Степун вторично женился — на студентке историко-философского отделения Высших женских курсов Наталье Никольской. Ее родители — Николай Сергеевич и Серафима Васильевна — жили в большой квартире на Тверской улице, в пятиэтажном доходном доме товарищества «А. Бахрушина сыновья», построенном в 1900–1901 годах в стиле ар-нуво архитектором Карлом Карловичем Гиппиусом, семейным архитектором купцов и меценатов Бахрушиных. Владелец

11. Дом № 17 в Курсовом переулке, построенный в начале прошлого века по проекту архитектора В. Н. Башкирова, и сегодня сохраняет свою «просветительскую специализацию»: здесь расположен Международный союз инженерных общественных объединений.

12. Сегодня в этом доме по адресу: Большой Кисловский переулок, д. 1/12, работает Институт языкознания РАН.

дома был Алексей Александрович Бахрушин — собиратель театральной старины, создатель частного литературно-театрального музея.

Тесть Степуна владел небольшой фирмой, продающей фотографические и типографские принадлежности, и выбор им квартиры в доме на Тверской был неслучаен: нижние два этажа, выходящие огромными окнами на оживленную (хотя в те времена еще довольно узкую) улицу, были заняты московским представительством французской фирмы братьев Пате, специализировавшейся на продаже патефонов, фонографов, проекционных аппаратов, а позднее и на самостоятельном производстве фильмов. Квартиры жильцов находились на трех верхних этажах: вход был не только с улицы, но и с большого двора со стороны Козихинского переулка, где Гиппиус спроектировал еще несколько «бахрушинских» многоквартирных домов классом поскромнее. (Доходный дом Бахрушина на Тверской, сегодня числящийся под № 12, уцелел в почти неизменном виде после расширения и радикальной реконструкции улицы в конце 1930-х годов¹³.)

В последние предвоенные годы, в 1912–1914 годах, Федор и Наталья Степун снимали квартиру в доме № 13 по Новослободской улице («*небольшом под вековым тополем домике*» (Степун, 2000в: 230)¹⁴), принадлежавшем дворянке В. Н. Новиковой. В соседней квартире жил сын домовладелицы — Михаил Михайлович Новиков, ученый-зоолог, знакомый Степуна по Гейдельбергскому университету. В 1911 году Новиков в числе 130 других профессоров и приват-доцентов демонстративно покинул Московский университет в знак протеста против антистуденческих репрессий правительства. Новиков, в то время гласный Московской думы, где он занимался проблемами народного просвещения, перешел в Коммерческий университет, возглавляемый его другом П. Н. Новгородцевым, а в 1912 году был избран депутатом IV Государственной думы от кадетской партии. (Осенью 1916 года М. М. Новиков вернулся профессором в Московский университет, в 1918 году был избран деканом физико-математического факультета, а весной 1919 года стал избранным ректором Московского университета. Осенью 1922 года Новиков был выслан из страны «философским пароходом» и впоследствии много общался с Федором Степуном в эмиграции.)

Военные годы «прапорщика-артиллериста» Федора Степуна являются темой отдельного исследования (Кара-Мурза, 2015а: 83–86). Укажем здесь лишь на тот факт, что, честно исполняя свой офицерский долг, интеллеktуал Степун слабо верил в удачный для России исход мировой войны: «Иной раз, внутренне созерцая Россию и всю накопившуюся в ней ложь, я решительно не представляю себе, как мы доведем войну не до победного, конечно, но хотя бы до не стыдного, прилично-го мира... Вокруг неразрешимых вопросов внутреннего бытия России царствует

13. Сохранился (хотя и находится в состоянии затянувшийся реконструкции) и соседний, в сторону Кремля, дом с бывшей «булочной Филиппова», фешенебельной кофейней в первом этаже и гостиницей «Люкс», отданной большевиками в 1919 году под общежитие НКВД, потом Коминтерна, и ставшей в конце концов «Центральной».

14. Весь квартал старых домов по нечетной стороне Новослободской улицы не сохранился.

полная отрешенность ее сынов от всех задач сознательного национального строительства, кружит какая-то бескрайняя свобода в разрешении себе безудержной спекуляции, лихого воровства, шантажа, кутежа и разврата» (Там же: 244). Тем не менее Степун попытался принять личное участие в демократической трансформации России после падения самодержавия (себя он до конца жизни считал «человеком Февраля»): был делегатом от фронта в Центральном Исполнительном комитете в Петрограде, а летом — осенью 1917 года работал в Политуправлении при военном министерстве, будучи близким сотрудником Б. В. Савинкова.

После переезда поздней осенью 1917 года из революционного Петрограда в Москву Степуны более года прожили в квартире Никольских на Тверской улице. Не всякий извозчик соглашался тогда везти на Тверскую и в Козихинский переулок, находившихся в центре боев белых юнкеров с Красной гвардией: стреляли и от Страстного монастыря, и с крыши высотного дома Нирнзее в Гнездиновском переулке. Закрепившиеся в городе большевики разместили свой Военно-революционный комитет совсем рядом — в бывшем доме генерал-губернатора. Степун вспоминал о тех днях: «По внешности наша жизнь была как будто бы еще та же, на самом деле все было уже иным. Прошлое еще присутствовало в нашем домашнем обиходе, но лишь так, как угасающий больной присутствует среди здоровых. Всякое слово о нем было словом прощания с ним» (Степун, 2000в: 466).

Перебираясь в Москву, Степун рассчитывал подалее уйти от утомившей и только раздражавшей его петроградской политики: все-таки в военно-политических структурах Временного правительства он был заметной фигурой. Позднее он вспоминал о своих политических настроениях первых послереволюционных месяцев и своем неучастии в работе ушедших в подполье антибольшевистских организаций:

Зная понаслышке об этих политических объединениях, я и сознательно, и бессознательно держался в стороне от них. Не то чтобы я отрицал возможность всякой борьбы, но я уже не верил ни в себя как политического деятеля, ни в политические способности разогнанных большевиками сил. Мне казалось, что люди, не сумевшие удержать так легко доставшуюся им власть, вряд ли смогут вернуть себе ее при гораздо более сложных обстоятельствах. В те дни мною владела уверенность, что чашу большевистского яда России придется выпить до дна. (Там же: 463)

В эмигрантских очерках «Мысли о России» Степун подробно написал о том, почему вооруженная борьба против большевиков казалась ему «бессмысленной и беспечной»:

Было ясно, что большевизм — одна из глубочайших стихий русской души: не только ее болезнь и ее преступление. Большевики же совсем другое: всего только расчетливые эксплуататоры и потакатели большевизма... Дело было все время не в них, но в той стихии русского безудержа, которую они оседлать — оседлали, которую шпорить — шпорили, но которой никогда не

управляли... Историческая задача России в изжитые нами годы, в годы 1918–1921, заключалась не в борьбе с большевиками, но в борьбе с большевизмом: с *разнузданностью нашего безудержа*. Эту борьбу нельзя было вести никакими пулеметами; ее можно было вести только внутренними силами духовной сосредоточенности и нравственной выдержки. (Степун, 1923: 396–397)

Между тем в Москве примерно до середины 1918 года сохранялась некоторая свобода печати. Сам Степун объяснял это тем, что «закрывая газеты, большевики не могли не чувствовать, что они возвращаются в ненавистный им старый мир, и это в глубине души было им, быть может, все же неприятно. Дух творческого радикализма и рассекающей жестокости был им исконно свойственен, скудный же дух реакции завладевал ими лишь постепенно». По мнению Степуна-социолога, «утверждение наших либералов и социалистов, что дух большевизма с самого начала был духом реакции, социологически, конечно, неверно. Несомненно, большевики войдут в историю наследниками Великой французской революции, а не наследниками романтически-националистической реакции против нее, как властители фашистской Италии и национал-социалистической Германии» (Степун, 2000в: 468–470).

Степун согласился тогда войти в редакцию формально независимой, а по сути правозащитной, газеты «Возрождение», которой финансово помогали через свои посольства союзники по Антанте и во главе которой встал близкий друг еще по Гейдельбергу Илья Исидорович Бунаков-Фондаминский: «Ему, влюбленному во французскую культуру, французский язык и французскую журналистику, старому парижскому эмигранту, уже давно начавшему разочаровываться в политике как таковой, страстно мечталось создать в Москве большую газету нового типа, некий социалистический «Temps»¹⁵.

Конечно, Бунаков-Фондаминский обратился тогда к Степуну «не как к политическому деятелю», а «как к писателю-философу» и предложил ему возглавить культурно-философский отдел «Возрождения». Тот, почти не раздумывая, согласился:

Дело окультуривания русского демократического социализма было мне близко и дорого; к тому же предложение газеты и с внешней стороны устраивало мою жизнь. Идти на службу в какое-нибудь большевистское учреждение было для меня неприемлемо. Зарабатывание же пропитания случайной публицистической работой было крайне трудно. Вполне достаточное месячное вознаграждение за интересную работу сразу же разрешало все трудности практической жизни. (Степун, 2000в: 470–471)

15. Дружеские и литературно-издательские связи с Ильей Бунаковым-Фондаминским Степун сохранил и в эмиграции: в Париже он станет сотрудником и автором журнала «Современные записки», одним из редакторов которого был Бунаков, а позднее организует вместе с ним и Георгием Федотовым еще одно замечательное издание — «Новый град».

Каждое утро, в течение нескольких месяцев, Степун ходил пешком в редакцию «Возрождения», находившуюся в новопостроенном «доме-утюге» на углу Спиридоновки и Гранатного переулка. Идти было недалеко: до угла Тверской, где еще стояла уже закрытая большевиками церковь Дмитрия Солунского (снесена в 1934 году), мимо громады Страстного монастыря (через год он будет упразднен, а его кельи заняты Военным комиссариатом Троцкого) и далее вниз по Тверскому бульвару. И всякий раз охватывало Степуна странное ощущение новой Москвы — «будто бы еще своей», но «уже ускользающей от тебя» (Там же: 474). Единственное, что удерживало в его сознании прежний образ Москвы, — это Пушкин, «светлое имя которого еще в раннем детстве таинственно прозвучало мне в соседнем с нашим Кондровым «Полотняном заводе» Гончаровых» (Там же)¹⁶. Ибо оставались на своих местах и стоявший тогда спиной к Тверскому бульвару пушкинский памятник Опекушина, и церковь Большого Вознесения у Никитских Ворот, где поэт венчался¹⁷.

Уже в эмиграции, в цикле очерков «Мысли о России» (бесспорно, выдающихся по своей историософской глубине), Федор Степун попытался осмыслить и описать произошедший с Россией и искореживший его собственную жизнь экзистенциальный переворот, сломавший все привычные человеческие «идентичности»:

Каждый перестал быть тем, чем был, и каждый сразу мог стать всем... С невероятной быстротой исчезли все фиктивные перегородки жизни, и тысячи тысяч судеб сразу же вышли из предназначенных им рождением и воспитанием форм. словно кто внезапно рванул все двери классовых, сословных и профессиональных убежищ, выгнав наши души в бескрайние просторы чего-то исконно и первично человеческого. (Степун, 1925: 352–353, 1924: 329–330)

Впрочем, во время наступления на Москву генерала А. И. Деникина в июле — августе 1919 года и вероятной перспективы краха большевиков в среде новой советской номенклатуры начался процесс «нового оборотничества». Степун вспоминал потом один московский вечер в кругу сотрудничающих с большевиками, а теперь серьезно призадумавшихся высокопоставленных «военспецов»:

По обывательской Москве ходили слухи, что уже заняты Рязань и Кашира... Вывернутая наружу красная генеральская подкладка была у всех присутствующих явно подбита траурным крепом... По глазам и за глазами у всех бегали какие-то странные, огненно-лихорадочные вопросы, в которых переключалось и перемигивалось все: люта я ненависть к большевикам с острой завистью к успехам наступающих добровольцев... боянь развязки, с твер-

16. В усадьбе породнившихся с Пушкиным Гончаровых в «Полотняном заводе» А. С. Пушкин бывал дважды — в 1830 и 1834 годах.

17. Во времена Степуна рядом с церковью Большого Вознесения еще стояла шатровая колокольня старого Вознесенского храма времен царицы Натальи Нарышкиной — матери Петра I (снесена в 1937 году). Новая колокольня построена в 2002–2004 годах.

дою верю — ничего не будет, что ни говори, наступают свои... Атмосфера была жуткая и призрачная, провоцирующая, провокаторская. (Степун, 1924: 329–330)

Согласно Федору Степуну, большевистский переворот в России произвел буквально тектонический сдвиг человеческого бытия, не только выбив миллионы из привычных контекстов существования, но и до предела оголив все его первичные смыслы: «В страшные первые годы большевистского царствия мы не только поняли, что есть хлеб, кров, одежда, но также и то, что есть любовь, дружба и верность; родина, государство, семья. Поняли, кто поэт, кто ученый, кто герой, кто трус, кто настоящий русский человек, а кто на Руси прохожий. Все встало и определилось в своем подлинном удельном весе» (Там же: 352). Эту мысль, впервые высказанную в очерке 1925 года, Степун затем несколько иначе изложил в более поздних мемуарах:

По всей линии разрушающейся цивилизации новый советский быт почти вплотную придвигался к бытию... Сквозь внешнюю оболочку вещей всюду видимо проступали заложенные в них первоидеи... В свете «красной звезды» всем нам становилось по-новому ясно, что есть любовь, дружба, чем поэт отличается от версификатора, подлинный философ от профессора философии, герой от позера и коренной русский человек от случайного по Руси прохожего. Распознавание сущности становилось жизненной необходимостью для каждого из нас, потому что на каждом перекрестке стояла судьба, потому что каждый поворот означал выбор между верностью себе и предательством себя. (Степун, 2000в: 459–460)

Изменилась, согласно Степуну, и сама «метафизика» Москвы, быстро утрачивающей свою привычно-передовую цивилизующую роль:

Отсталая деревня внезапно оказалась во главе жизни. Город и фабрика начали жаться к ней и просить у нее милостыни: насущного хлеба и насущных устоев; как это ни странно, но деревня не только хозяйственно, но и культурно оказалась сильнее города, сохранив и под диктатурой пролетариата те старые формы бытового своего обихода, которые так легко уступили большевикам цивилизованные столицы. Однако не только вхождение в жизнь деревни и оскудение города меняло привычную перспективу времени, пробуждая в душе новое чувство бренности и вечности жизни, — менял ее и сам вид большевистского города. (Степун, 1925: 353–354)

В 1920-е годы в Берлине, Париже, Дрездене Федор Степун много писал о новой большевистской Москве, изменившей, по его мнению, не только облик, но и свое существо:

Москва 1919 года напоминала, особенно под вечер и ночью, древнюю Москву Аполлинария Васнецова. Темные окна. Занесенные тротуары. Нанесены сугробы. Ныряют по ним изредка одинокие извозчики санки. Скрипит

в тишине на морозе снег. Идешь — озираешься, нет ли где за углом чекиста-опричника, и невольно вздрагиваешь, слышав чьи-то смелые, громкие голоса. Но не то, конечно, в первую очередь важно, что чекист, смешивая исторические перспективы, обращал наши взоры к древнему облику Москвы, а то, что, стирая грани жизни и смерти, обращал наши души к Вечности. (Там же: 355)

Позднее, в своих мемуарах, Федор Степун дополнил и развил эту картину:

По-новому ощущались и пространства Москвы. По всему городу... просторными пустырями переливались через растасканные заборы, еще Герценом прославленные, московские дворы. По этим просторам в разные стороны разбегались утопанные тропки, по которым с утра до ночи с оглядкой спешил нагруженный кладью люд. На привокзальных площадях «древними кочевьями» темнели толпы народа, сутками ожидавшие отхода поезда... По ночам от всеобщего беспорядка часто горели деревянные окраины города. Тогда казалось, что Москва бежит от француза и, спасаясь, сжигает себя. (Степун, 2000в: 460–461)

Москва, внешне отброшенная в архаику, в своих обнажившихся метафизических глубинах оказалась перед лицом Вечности — в этом проявилась новая, возможно, самая фундаментальная ее идентичность: «На каждом перекрестке стояла судьба, каждый поворот жизни был выбором между верностью и предательством, между честью и подлостью. Во внешне до убожества упрощенной жизни на каждом шагу свершались нравственно бесконечно сложные процессы. Обесмыслились все впрок заготовленные точки зрения, жизнь требовала живых пытливых глаз» (Там же).

Трудно было ожидать от большинства городских обывателей способности выдержать подобное испытание — эту мысль, неоднократно посещавшую его в обольщенности Москве, Степун впоследствии разовьет в соответствующих главах эмигрантских мемуаров:

Тысячи и тысячи людей, насильнически выгнанных революционным законодательством и произволом масс из своих... городских особняков и даже скромных интеллигентских квартир, бросали вместе с накопленным добром и весь свой мирозерцательный багаж, дабы хоть кое-как устроиться под спасительной крышей марксистской идеологии. Толпы этих обнищавших, внутренне неприкаянных переселенцев заполняли собою... всевозможные советские учреждения, придавая жизни неуловимо-призрачный, двоящийся характер. Охваченные со всех сторон партийным шпионажем, эти новоявленные «товарищи» легко запутывались в нем и, спасая себя, выдавали других. (Там же: 458)

Однако одновременно с массовой антропологической деградацией свершался в Москве и противоположный процесс — процесс удивительного «восхождения»

души» и «жизни на вершинах»: «О, конечно, не всех, но тех, в которых спасалась душа России... Глубже всего свершалось в Москве, которая отнюдь не была только грязным и разваливающимся, но и совершенно фантастическим городом, в котором призрачно переплетались все времена и пространства русской истории» (Там же: 461). И тому были не менее глубокие экзистенциальные причины, чем инстинкт физического самосохранения:

Чтобы устоять, чтобы оградить себя от самого страшного, от гибели души и совести, надо было иметь живые, неподкупные глаза и владеть даром интуитивного распознавания «духов». Жизнь на «вершинах» становилась биологической необходимостью; абсолютное «бытие» переставало быть возвышенным предметом философского созерцания и поэтического вдохновения, с каждым днем оно все больше становилось единственно возможной опорой нашей повседневной жизни. (Там же)

В своих мемуарах Федор Степун приводит несколько примеров этой «вершинной жизни», разумеется, разорванной и фрагментарной, но единственно для автора *своей*. Одним из таких «островков» прежней Москвы была для Степуна квартира его друга А. С. Шора на углу Большой Никитской улицы и Большого Кисловского переулка¹⁸. Александр Соломонович Шор, бывший владелец фабрики роялей и находящегося в нижнем этаже его дома музыкального магазина, оказавшийся при советской власти простым настройщиком роялей с сильно поредевшей клиентурой, проживал в квартире на Большой Никитской с женой Раисой Моисеевной (всю жизнь проработавшей в благотворительности), сыном-музыкантом Юрием и дочерью Ольгой — историком и искусствоведем, впоследствии активно печатающейся в эмиграции под псевдонимом Ольга Дешарт¹⁹. Часто в квартиру к А. С. Шору приходил его младший брат, пианист-виртуоз и музыкальный педагог Давид Соломонович Шор (организатор, вместе со скрипачом Крейном и виолончелистом Эрлихом, европейски знаменитого «Московского трио»), а также другие члены многочисленного семейства, в основном из врачебного сословия, жившие и практикующие на той же Большой Никитской ближе к бульварам. В гостеприимный и хлебосольный дом («у Шоров дольше, чем у других, держались кое-какие последние запасы, которые они, не заглядывая в будущее, радушно и беззаботно скармливали всем, кто попадал к ним») часто приходили подискутировать об искусстве, философии и политике Вячеслав Иванов и Густав Шпет.

Степуну особенно запомнились последние перед его высылкой из России вечера в квартире Шоров в июле — августе 1922 года:

18. Этот когда-то очень красивый доходный дом с угловыми ажурными балкончиками, построенный по проекту В. А. Мазырина в 1890-х годах, подвергся в прошлом веке многочисленным переделкам и сейчас снова находится на реконструкции.

19. В своих мемуарах Ф. А. Степун так написал о совсем юной Ольге Александровне Шор: «Исключительно умная, многосторонне образованная и очень талантливая девушка, с большим успехом читавшая лекции по истории искусства на всевозможных рабочих курсах» (Степун, 2000в: 511).

Как памятно мне поздние летние вечера на небольшом балконе у Шоров. Летняя Москва была по-старому полна своею милою провинциальною грустью. Пахло пылью, нагретым за день железом крыш и увядающим жасмином... В гостиной о чем-то несбыточном раздумчиво пела виолончель Юрия Шора и было до полной утраты ощущения своего собственного «я» непонятно, почему засевшие в недалеком Кремле большевики творят в этом тихом, печально-прекрасном мире свое злое, громкое, бескорбно-мажорное дело и почему, творя его, они приглашают в Кремль трио «Шор, Крейн и Эрлих» и слушают музыку чуть ли не со слезами на глазах. (Степун, 2000в: 512)

Действительно, выступая на приемах в Кремле, Давид Шор не раз пользовался сентиментальностью некоторых его обитателей, чтобы выхлопотать чье-то помилование. Когда в том же, печальном для интеллигенции, 1922 году в Советской России начались массовые аресты сионистов, Д. Шор, через своего приятеля Льва Каменева-Розенфельда (председательствовавшего тогда, в связи с болезнью Ленина, на Политбюро), добился для них замены тюрьмы и ссылки высылкой за границу «без права возвращения». В общей сложности такая мера была применена до начала 1930-х годов примерно к двум тысячам советских евреев (позднее выходцы из России, которым инициатива Шора спасла жизнь, посадили в его честь рощу в поселении Бен-Шемен). В 1927 году Давид Шор навсегда уехал в Палестину. Он скончался в Тель-Авиве в 1942 году.

Другим «духовным прибежищем» стала для Степуна квартира философа и публициста Николая Александровича Бердяева в Большом Власьевском переулке, где проходили первые заседания Вольной Академии духовной культуры²⁰. Степун искренне считал Бердяева (с которым часто расходился во взглядах) «одною из наиболее центральных фигур философской, да и вообще духовной жизни советской Москвы»: «Большевистский вихрь не только взволновал его, как всех нас, но и оплодотворил, как немногих. В его голове и сердце неустанно клокотали тысячи мыслей и страстей. Ни раньше, ни позже не чувствовал я вулканической природы бердяевского духа так сильно, как в последние годы нашей жизни в Москве» (Степун, 2000в: 508).

Степуну принадлежит и, возможно, лучшее в отечественной литературе описание духовно насыщенной атмосферы последнего в Москве бердяевского дома:

Небольшая писательская квартира, чадит железная печка, холодно. Кто в драповом пальто, кто в фуфайке, многие в валенках. На чайном столе ржаной символ прежних пирогов и печений и изобретение революции, керосиновая свеча. В комнате почти вся философствующая и пишущая Москва. Иногда до 30–40 человек. Жизнь у всех ужасная, а настроение бодрое и в корне, по крайней мере, творческое, во многих отношениях, быть может, более существенное и подлинное, чем было раньше, в мирные, рыхлые, довоенные годы. (Степун, 1923: 399)

20. Подробнее об этом, последнем московском адресе Н. А. Бердяева см.: Кара-Мурза, 2014: 71–77.

Позднее, в мемуарах, Степун добавит к этому описанию фразу, важную для него лично: «Если бы в моей памяти не темнел небольшой кабинет Николая Александровича и не светилась бы красными бликами шелковая обивка его гостиной, мне было бы много грустнее вспоминать нашу подсоветскую жизнь» (Степун, 2000в: 510).

Добавлю, что именно в кабинете Бердяева, выходящем во двор с полуразрушенным временем и людьми домом, где прошло детство Герцена, и сговорились в 1921 году о сборнике «Освальд Шпенглер и Закат Европы» четыре его автора: Федор Степун, Николай Бердяев, Семен Франк и Яков Букшпан. Первые трое, как известно, были вскоре высланы из России, а четвертый, талантливый экономист Я. М. Букшпан, отказавшийся покинуть страну, был через несколько лет расстрелян.

Из других степуновских зарисовок послереволюционной Москвы выделяется рассказ об одном из публичных заседаний Академии духовной культуры в нетопленной аудитории Высших женских курсов в Мерзляковском переулке: «Все сидели в пальто, шубах, валенках; как во внешней обстановке, так и в тревожном настроении собравшихся чувствовалось наступление вражьей власти и повелительная необходимость не говорить перед ее лицом никаких случайных, поверхностных и праздных слов» (Там же: 149). С выступавшим в качестве докладчика Бердяевым вступил в полемику другой мэтр московской философии Густав Густавович Шпет:

Отдельных возражений Шпета я не помню, помню только, что он запальчиво нападал на христианство и с непонятной страстностью защищал в большевистской Москве... Элладу. В этом выверте была, конечно, своя, шпетовская логика. Думаю, что преувеличенно ощущая внутреннюю близость христианского и коммунистического утопизмов, Шпет только потому и говорил о светлой, трезвой, здешней Греции, что его раздражал традиционный в Религиозно-философской академии взгляд на Москву, как на третий Рим. Какой — к черту — третий Рим, когда в Кремле засели большевики! Не расстрелять ли вместе с большевиками и христиан, чтобы наконец-то вытрезвилась матушка-Русь. (Там же)

Несмотря на дружеские отношения с Бердяевым и обоюдно прохладные со Шпетом, Степун, похоже, не был равнодушен к логике последнего. Ему, прошедшему школу строгого философствования в Гейдельберге и Марбурге, была чужда спекулятивная «панидеологизация» (термин Степуна) жизненных явлений. В 1933 году, отвечая на анкету эмигрантского «Пореволюционного клуба»²¹ (потом этот ответ был перепечатан в журнале «Новый град»), Степун с горечью написал об

21. «Пореволюционный клуб» был основан в мае 1932 года в Париже по инициативе местного отдела Союза российских национал-максималистов и объединил многих умеренных эмигрантских литераторов и политиков. В его деятельности принимали активное участие парижские друзья Федора Степуна, работавшего тогда в Дрездене, — И. И. Бунаков-Фондаминский, Г. П. Федотов и монахиня Мария (Е. Ю. Скобцова).

идеологических мифах, долгие годы насилувавших русскую жизнь и в итоге приведших ее к катастрофе. И первым в ряду этих убийственных мифов он назвал как раз идею «Москвы — третьего Рима»:

Думаю, что нам... необходимо стать гораздо более трезвыми, чем были наши предшественники-славянофилы. Москва — третий Рим... Россия — третья сила, которой суждено примирить безбожного человека Запада и бесчеловечного Бога Востока, Россия — единственный оплот против западноевропейской революции — вот несколько примеров того, чего больше не надо, что потерпело страшное крушение, отчего становится как-то стыдно при взгляде на Советскую Россию и на нашу общественную вину и слабость. (Степун, 1933: 19–20)

Вообще одна из фундаментальных философских идей Ф. А. Степуна, окончательно продуманная им уже в эмиграции, — необходимость строгого различения *идей* и *идеологий*. «Идея», согласно Степуну, — это «структура бессознательного переживания», в отличие от «идеологии», которая есть «построение теоретического сознания» (Степун, 1929: 441). Поэтому сам он никогда не пытался сформулировать, например, некую особую «русскую» или «московскую идею» — но всегда стремился уловить и по возможности адекватно передать смыслы, прорастающие снизу: «Не надо формулировать идеи. Идея... — это зерно, это «путь зерна», это органический рост и цветение, нечто изнутри каждому причастному идее ведомое, но одновременно тайное, сокровенное, а потому и неизреченное» (Степун, 1933: 16). Поэтому «формула России», предложенная Степуну, звучит так:

Идея России заключается в защите Божьих замыслов (идей) от человеческих выдумок (идеологий) и в блюденнии себя как главной твердыни на фронте идей... Я уверен, что без внутреннего сопротивления отвлеченному раскрытию русской идеи обязательно переусердствуешь в ее формулировке; а это весьма опасно не только для теории, но и для политической практики... Русскость есть качество духовности, а не историософский, политический и идеологический монтаж. (Там же: 18, 20)²²

Оказавшись в Германии и ностальгируя (что вполне естественно) по Москве своей молодости, Ф. А. Степун, однако, не мог согласиться с бытовавшим в эмигрантских кругах убеждением, что это, мол, новые большевистские правители «беспощадно стерли с Москвы ее стародавний облик».

Облик этот начал меняться задолго до большевиков, — возражал Степун. — Спору нет: большевизм проявил в своем коммунистически-государственном грондерстве много бестактности и безвкусицы, но ведь и в вольном меценатски-купеческом строительстве не было недостатка ни в том, ни в другом. Достаточно вспомнить Врубелевскую мозаику на «Метрополе», громадные

22. Подробнее о философском различении Степуну «идей» и «идеологий» см.: Кара-Мурза, 2012: 34–40.

золотом окаймленные лиловые ирисы всем нам памятного особняка [Рябушинского] недалеко от Никитских Ворот, неоготический замок [Зинаиды] Морозовой глубоко во дворе на Спиридоновке и знаменитый по своей нелепости особняк [Арсения Морозова] на Воздвиженке в мавритански-готическом стиле, с его усыпанными раковинами и окантованными каменными морскими канатами башнями. (Там же: 155)

По мнению Степуна, «все эти стилистические изощрения подходили к старой Москве не больше, чем здание Моссельпрома» (Там же).

Но в степуновской констатации того, что Москва начала радикально меняться по меньшей мере за десятилетие до прихода неомодернистов-большевиков, проявился и его своеобразный оптимизм: «Единственное, что можно сказать в защиту вольного московского строительства, это то, что в Москве всякая нелепая причуда всегда была больше к лицу, чем покорное послушание закону планового строительства» (Там же). «Иногда мне, впрочем, думается, — добавлял Степун, — что при внимательном рассмотрении советской столицы, образ которой, несмотря на сотни фотографий, мне все еще как-то не видится, и в ней где-нибудь да скажется исконный русский дар всё — хорошо ли, плохо ли — переделывать на собственный лад» (Там же).

«Идеальная Москва» для Степуна — это непрерывное вольное творчество, самовоспроизводящаяся энергетика города, не опосредованная ни буржуазным рынком, ни тем более чьей-то авторитарной волей. Как бы там ни было, ясно то, что сам Ф. А. Степун, москвич не только по рождению, но и по духу, внес в осмысление *метафизики Москвы*, а значит, и в ее пребывающую в постоянном развитии *идентичность*, свои, абсолютно неповторимые краски и ноты.

...А перед самым отъездом в вынужденную эмиграцию Ф. А. Степун вдруг снова, во всей полноте, в последний раз ощутил *свою Москву*:

Паспорта лежали в кармане. До отъезда оставалась неделя. Каждый день мы с женой ходили к кому-нибудь прощаться. Ходили по всей Москве: со Смоленского рынка на Солянку, с Мясницкой к Савеловскому вокзалу, и странное, трудно передаваемое чувство с каждым днем все больше и больше укреплялось у нас в душе: *чувства возвращения нам нашей Москвы* [курсив мой. — А. К.], Москвы, которую мы уже долго не видали, как будто совсем потеряли и вдруг снова нашли. В этом новом чувстве нашей Москвы снова торжествовала свою победу вечная диалектика человеческого сердца, которое окончательно овладевает предметом своей любви всегда только тогда, когда его теряет. (Степун, 1923: 398–399)

Казалось бы, невозможно сформулировать абсолютную человеческую уверенность в своей глубинной *московской идентичности* более точно. И тем не менее раннеэмигрантский очерк Федора Степуна о «прощании с Москвой» в октябре 1922 года заканчивается еще более удивительным фрагментом: «Весь вагон давно спит, лишь мы с женой стоим у окна. Я смотрю в черную ночь и страницу за стра-

ницей листаю свои воспоминания за пять безумных лет. И странно, чем дальше я листаю их, тем дальше отодвигается от души приближающаяся ко мне разумная Европа, тем значительнее вырисовывается в памяти удаляющаяся от меня безумная Россия» (Там же: 399).

Литература

- Кантор В. К. (2006). Как издают шедевры: о публикации русского варианта мемуаров Ф. Степуна «Бывшее и несбывшееся» // Вопросы литературы. № 3. С. 278–319.
- Кара-Мурза А. А. (2012). Как идеи превращаются в идеологии: российский контекст // Философский журнал. № 2. С. 27–44.
- Кара-Мурза А. А. (2014). Бердяевская Москва: опыт философского краеведения // Философские науки. № 4. С. 65–77.
- Кара-Мурза А. А. (2015а). Степун, Москва и мировая война // Вопросы философии. № 10. С. 83–86.
- Кара-Мурза А. А. (2015б). Флоренция В. В. Вейдле // Философские науки. № 7. С. 45–52.
- Кара-Мурза А. А. (2016). Сорренто Владимира Соловьева // Философские науки. № 2. С. 101–116.
- Степун Ф. А. (1910). Трагедия творчества (Фридрих Шлегель) // Логос. Кн. 1. С. 171–196.
- Степун Ф. А. (1912). К феноменологии ландшафта // Труды и дни. № 2. С. 52–56.
- Степун Ф. А. (1923). Мысли о России. Очерк первый // Современные записки. Кн. 14. С. 391–400.
- Степун Ф. А. (1924). Мысли о России. Очерк четвертый // Современные записки. Кн. 19. С. 296–333.
- Степун Ф. А. (1925). Мысли о России. Очерк шестой // Современные записки. Кн. 23. С. 342–371.
- Степун Ф. А. (1926). Из писем прапорщика-артиллериста. Прага: Пламя.
- Степун Ф. А. (1929). Религиозный смысл революции // Современные записки. Кн. 40. С. 427–460.
- Степун Ф. А. (1933). Идея России и формы ее раскрытия. Ответ на анкету Пореволюционного Клуба // Новый град. № 8. С. 15–27.
- Степун Ф. А. (1960). Автобиографический очерк // Старые — молодым. Мюнхен: ЦОПЭ. С. 91–94.
- Степун Ф. А. (2000а). Памяти Андрея Белого // Степун Ф. А. Сочинения. М.: РОС-СПЭН. С. 704–721.
- Степун Ф. А. (2000б). Москва — третий Рим // Степун Ф. А. Сочинения. М.: РОС-СПЭН. С. 596–611.
- Степун Ф. А. (2000в). Бывшее и несбывшееся. СПб.: Алетейя.

- Степун Ф. А. (2000г). Вячеслав Иванов // Степун Ф. А. Сочинения. М.: РОС-СПЭН. С. 722–734.
- Степун Ф. А. (2012). Мистическое мировидение: пять образов русского символизма. СПб.: Владимир Даль.
- Федотов Г. П. (1992). Судьба и грехи России. Т. 2. СПб.: София.
- Kara-Murza A. A. (2015). Berdyaev's Moscow: A Philosophical Investigation of Local History // Russian Studies in Philosophy. Vol. 53. № 4. P. 338–351.
- Stepun F. (1947). Vergangenes und Unvergängliches: Aus meinem Leben 1884–1914. München: Kösel.

Moscow "Before" and "After" Revolution: The Sociology of the Native City in the Works of Fyodor Stepun

Alexei Kara-Murza

DSc in Philosophy; Professor, Senior Research Fellow, National Research University Higher School of Economics Senior Research Fellow, Institute of Philosophy RAS.

Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: a-kara-murza@yandex.ru

This article is devoted to the analysis of the distinctive "sociology of Moscow" of the Russian philosopher and sociologist Fyodor Avgustovich Stepun (1884–1965) who was born, studied, and lived in Moscow until his expulsion in 1922 by the Bolshevik regime of Soviet Russia. From a large amount of factual material, the author shows how the creative experiences of the Muscovite Stepun were associated with two different periods of the life of Moscow, "before" and "after" the Revolution of 1917. Before the First World War, Moscow was a favorite theme of steppe-memoirs. Unlike many authors who called those years a "lost time" for Russia, Stepun, on the contrary, highly valued that time period for its social dynamism and diverse cultural creativity. A native Muscovite, Stepun was encouraged by the rapid pre-war growth of the old capital and had repeatedly declared the life in pre-war Moscow to be the "Golden Age" of Russian culture. He shared the idea that an "enlightened Russia" is "a better Europe" with his emigré friends, G. P. Fedotov and V. Wadle. A special place in the article is given to the analysis of Stepun's attitude as an analyst and memoirist to the radical transformation of the "metaphysical landscape" of Moscow after the revolution; Stepun called it an "existential revolution" that broke all the usual human "identities". According to Stepun, the Bolshevik Revolution literally produced a tectonic shift of human existence, not only knocking millions of people from their usual contexts of existence, but also stretching the limits of and exposing all of the primary "existential" meanings of human existence.

Keywords: Fedor Stepun, Russia, Moscow, Russian philosophy, urban sociology, civilization, culture, First World War, revolution, Bolshevism, immigration, identity

References

- Fedotov G. (1992) *Sud'ba i grekhi Rossii. T. 2* [The Fate and Sins of Russia, Vol. 2], Saint Petersburg: Sofia.
- Kantor V. (2006) Kak izdayut shedevry: o publikacii russkogo varianta memuarov F. Stepuna "Byvshee i nesbyvsheesya" [How Masterpieces are Published: On the Publication of the Russian Version of F. Stepun's Memoirs "Fulfilled and Unfulfilled"]. *Voprosy literatury*, no 3, pp. 278–319.

- Kara-Murza A. (2012) Kak idei prevrashhajutsja v ideologii: rossijskij kontekst [How Ideas Turn into Ideologies: The Russian Context]. *Philosophical Journal*, no 2, pp. 27–44.
- Kara-Murza A. (2014) Berdyaevskaya Moskva: opyt filosofskogo kraevedeniya [Berdyaev's Moscow: A Philosophical Essay in Local History]. *Philosophical Sciences*, no 4, pp. 65–77.
- Kara-Murza A. (2014) Berdyaev's Moscow: A Philosophical Investigation of Local History. *Russian Studies in Philosophy*, vol. 53, no 4, pp. 338–351.
- Kara-Murza A. (2015) Stepun, Moskva i mirovaya vojna [Stepun, Moscow and World War II]. *Voprosy filosofii*, no 10, pp. 83–86.
- Kara-Murza A. (2015) Florenciya V. V. Weidle [V. V. Weidle's Florence]. *Philosophical Sciences*, no 7, pp. 45–52.
- Kara-Murza A. (2016) Sorrento Vladimira Solov'eva [Vladimir Solovyov's Sorrento]. *Philosophical Sciences*, no 2, pp. 101–116.
- Stepun F. (1910) Tragediya tvorchestva (Fridrih Shlegel') [The Tragedy of Creativity (Friedrich Schlegel)]. *Logos*, vol. 1, pp. 171–196.
- Stepun F. (1912) K fenomenologii landshafta [Toward the Phenomenology of Landscape]. *Trudy i dni*, pp. 52–56.
- Stepun F. (1923) Mysli o Rossii. Ocherk pervyj [Thoughts about Russia: First Essay]. *Sovremennye zapiski*, vol. 14, pp. 391–400.
- Stepun F. (1924) Mysli o Rossii. Ocherk chetvertyj [Thoughts about Russia: Fourth Essay]. *Sovremennye zapiski*, vol. 19, pp. 296–333.
- Stepun F. (1925) Mysli o Rossii. Ocherk shestoj [Thoughts about Russia: Sixth Essay]. *Sovremennye zapiski*, vol. 23, pp. 342–371.
- Stepun F. (1926) *Iz pisem praporshchika-artillerista* [From the Letters of Warrant Officer-Gunner], Prague: Plamya.
- Stepun F. (1929) Religioznyj smysl revolyucii [The Religious Meaning of the Revolution]. *Sovremennye zapiski*, vol. 40, pp. 427–460.
- Stepun F. (1933) Ideya Rossii i formy ee raskrytiya: otvet na anketu Porevolucionnogo Kluba [The Idea of Russia and the Form of Its Disclosure: Response to the Questionnaire of the Post-revolutionary Club]. *Novy grad*, no 8, pp. 15–27.
- Stepun F. (1960) Avtobiograficheskij ocherk [Autobiographical Essay]. *Old to Young*, Munich: COPE, pp. 91–94.
- Stepun F. (2000) Pamyati Andrey Belogo [In Memory of Andrei Bely]. *Sochinenia* [Works], Moscow: ROSSPEN, pp. 704–721.
- Stepun F. (2000) Moskva — tretij Rim [Moscow — the Third Rome]. *Sochinenia* [Works], Moscow: ROSSPEN, pp. 596–611.
- Stepun F. (2000) *Byvshee i nesbyvsheesja* [Fulfilled and Unfulfilled], Saint Petersburg: Aleteia.
- Stepun F. (2000) Vyacheslav Ivanov [Vyacheslav Ivanov]. *Sochinenia* [Works], Moscow: ROSSPEN, pp. 722–734.
- Stepun F. (2012) *Misticheskoe mirovidenie: pyat' obrazov russkogo simvolizma* [The Mystical World-view: Five Images of Russian Symbolism], Saint Petersburg: Vladimir Dal'.